

Максим Горький

# Жалобы



Максим Горький

**Жалобы**

«Public Domain»

1911

## Горький М.

Жалобы / М. Горький — «Public Domain», 1911

«Мой собеседник – офицер, он участвовал в последней кампании, дважды ранен – в шею, навывлет, и в ногу. Широкое, курносое лицо, светлая борода и ошипанные усы; он не привык к штатскому платью – постоянно оглядывает его, кривя губы, и трогает дрожащими пальцами чёрный галстук с какой-то слишком блестящей булавкой. Подозрительно покашливает, мускулы шеи сведены, большая голова наклонена направо, словно он напряжённо прислушивается к чему-то, в его глазах, отуманенных усталостью, светится беспокойная искра, губы вздрагивают, сиповатый голос тревожен, нескладная речь нервна, и правая рука всё время неутомно двигается в воздухе...»

# Содержание

I	5
Конец ознакомительного фрагмента.	12

# Максим Горький

## Жалобы

### I

Мой собеседник – офицер, он участвовал в последней кампании, дважды ранен – в шею, навывлет, и в ногу. Широкое, курносое лицо, светлая борода и ошипанные усы; он не привык к штатскому платью – постоянно оглядывает его, кривя губы, и трогает дрожащими пальцами чёрный галстук с какой-то слишком блестящей булавкой. Подозрительно покашливает, мускулы шеи сведены, большая голова наклонена направо, словно он напряжённо прислушивается к чему-то, в его глазах, отуманенных усталостью, светится беспокойная искра, губы вздрагивают, сиповатый голос тревожен, нескладная речь нервна, и правая рука всё время неутомно двигается в воздухе.

– Чудесно! – говорит он, положив ладонь на стол, – маленький стол наклоняется, поднос с чашками и стаканами едет к нему на колени. – А, чёрт! Извините. Хорошо-с, чудесно! Значит – народ? Не верю!

Дёрнув головой вверх, он сечёт рукой воздух, как бы отрубая что-то, и внушительно продолжает:

– Я служу одиннадцать лет, я-с видел этот самый ваш народ в тысячах и в отборном виде, так сказать, всё экземплярики в двадцать – двадцать шесть лет – самые сочные года – согласны? Так вот-с – не верю!

Он пристально смотрит в лицо мне, усмехаясь тяжёлой, тоскливой улыбкой.

– Вы думаете, я скажу – глуп? Ах, нет, извините, он не глуп, – ого! Очень способные ребята, да, да, очень. Даже эти татары и разная мордва – отнюдь не глупы и превосходно шлифуются в строю среди русских. Но всё это народ, который не чувствует под собою земли – не в каком-то там революционном или социальном смысле – в этом смысле у него земля есть! И работать он на ней мог бы! Китайцы, батенька мой, на площади в десять сажен квадрата кормятся превосходно, э-э? Нет, это вы сочинили насчёт земли и прочее, это вы – чтобы подкупить его! Земля у мужика есть в этом смысле, в почвенном, хозяйственном. Но у него нет земли в... как это сказать? в духе, что ли бы? У него нет ощущения собственности, понимаете? Он не чувствует России, русской земли, вот в чём суть! Спросите мужика – что такое Россия? Ага! У русского мужика нет ощущения России – вы это понимаете? Он, например, скверно работает, как доказано, он и сам знает, что работает хуже, чем мог бы. Почему? А зачем работать хорошо человеку, который не знает, кто он, где он и что с ним завтра будет, – зачем? Ему – лишь бы покормиться. Он и не живёт, а – кормится... Больше ничего! Позвольте, дайте сказать!

Он поднял обе руки к небу, надул щёки и несколько секунд помолчал, словно молясь в отчаянии.

– Я знаю – вы хотите сказать: образование, культура и так далее. А зачем ему образование и культура, если он не имеет угла, нет у него... пункта, куда он мог бы приложить эту культуру вашу? Он – ничего не хочет, он не любит учиться, не нужно ему это... не нужно!

Быстро выпив стакан вина с водой, он продолжал торопливо, точно усталый раздевался, чтобы поскорее лечь.

– Весь русский народ – нигилист, – резко? Верно-с! Он ни во что не верит. Он – в воздухе висит, народ этот. Он? Самый противогосударственный материал, и никакого чёрта из него не сделаешь, хоть лопни. Дресва. Рыхлое что-то, навеки и век века – рыхлое...

Видимо, он много думал о том, что говорил, и, хотя его слова были истёрты, безличны, стары, но в голосе и в каждом жесте чувствовалась та сила убеждения, которая даётся мно-

гими бессонными ночами, великой тоской о чём-то, чего страстно хочется, но что, может быть, неясно сознаёт человек.

– Мне кажется, – говорил он, дёргая шей и прикрыв глаза, – что я однажды видел весь народ в аллегорическом человеке – в запасном солдате, новгородце. Станный случай, знаете, но бывает это – перейдёт вам однажды человек дорогу, а вы помните его почему-то всю жизнь. Так и тут – мне пришлось быть в Старой Руссе, во время мобилизации; стою на платформе, сажают солдат в вагоны, бабы ревут, пьяные орут, трезвые смотрят так, точно с них кожу сдирать будут через час. Сразу, знаете, видно, что народ, понимаете – народ! – собирается защищать свою страну от коварного врага и так далее. Чёрт! Между прочими прискорбными рожами вижу одну – настоящий эдакий великорус: грудища, бородища, ручищи, нос картофелиной, глаза голубые и – это спокойное лицо... эдакое терпеливое, чёрт его возьми, лицо, уверенное такое... уверенное в том, что ничего хорошего не может быть, не будет никогда! Держит за плечо свою оплаканную, раскисшую в слезах бабёнку и внушает ей могильным голосом, но – спокойно, заметьте, спокойно, дьявольщина, внушает, кому что продать, сколько взять и прочее. Никаких надежд на возвращение, видимо, не питает, и не мобилизация это для него, а – ликвидация жизни, всей жизни, понимаете! Очень приятно видеть эдакое... этот анафемский фатализм, с которым человек отправляется на бой, на борьбу! Вы понимаете – фатализм и борьба, а? Соединение огня с водой дает пар, а тут уж чистый нигиль! Нуль, дыра бездонная! Я ему говорю: «Что ж ты, братец мой, так уж, а? Отправляешься на эдакое дело, а духа – никакого! Надо, братец мой, дух боевой иметь, надо надеяться на победу и возвращение домой со славой! Надо, мол, исполнять долг с жаром, с огёем и страстью! Для родины это, пойми...» – «Мы, говорит, ваше благородие, это понимаем! Мы, говорит, согласны исполнить всё, что прикажут». – «Да ты, говорю, сам-то как – хочешь победы?» – «Нам, говорит, не то что победа, а хоть бы и совсем не воевать». Тьфу! Тут его унтер пихнул в вагон.

Офицер волновался почти болезненно: на лице у него выступили багровые пятна, щёки дрожали в нервных гримасах, в глазах неукротимо разгоралась скорбь, и правая рука билась в воздухе, как разбитое крыло большой раненой птицы.

– Чудесно! Подал я прошение о зачислении добровольцем в действующую армию, зачислили, дали роту, еду догонять её. Догнал в Челябине, смотрю – этот новгородец тут. Ба, думаю.

Почему-то сделал вид, будто не узнаю его, а он сразу меня узнал и – ест голубыми спокойными глазами. Неприятно это, знаете. Разумеется – дисциплина, полное подчинение начальнику – это необходимо, но – вложи сюда немного своей души, своего разума, не садись ко мне на плечи, не выдавай себя за дитя какое-то... Вообще – будь жив! Будь человеком несколько... сколько можешь! А так, знаете, когда на тебя смотрят двести с лишком пар голубых глаз и каждая без слов говорит – делай со мной, что хочешь, – мне всё равно... это, знаете, ни к чёрту не годится! Это сразу налагает на вас как бы тяжелейшие цепи ответственности за всех и каждого... это уж требует Наполеона, которому тоже всё равно! Наполеон – с единицами и сотнями не считается. Наполеон живёт Францией, ради Франции. Среднему человеку – не по силам такое отношение к нему двух сотен взрослых людей, хотя бы он и жил Россией. Я, впрочем, ме знаю, что такое – средний человек, может быть, лучше, чтоб его не было. Чёрт знает... вот я, например, люблю Россию, сердечно люблю, ей-богу, желаю ей славы, богатства, счастья, готов на всё для этого... что там! Но – что же я всё-таки могу? Средний человек, я иногда с изумительной ясностью чувствую, что у меня нет головы, нет мозга, – понимаете? Это не смешно. То есть идиоту или нахалу это может показаться смешным, но – идиоты и нахалы всё-таки, мне кажется, ещё не большинство населения империи нашей. Да, так вот: голова, а в ней что-то шевелится, словно кошка играет клубком серых ниток и перепутала их, дрянь эдакая! Разве это – смешно? Эх, батенька, чёрт его знает как иногда жалко себя и всё это вообще... всю эту жизнь... Я, знаете, консерватор, в Европы не верю, – впрочем, я не знаю, во что верю... я простейший консерватор, черносотенец, по газетам. Но иногда вдруг мне

кажется, что я отчаяннейший революционер... да! Революционер, потому что всех жалко: всех этих средних, ошарашенных людей, которые делают революции, реакции, погромы и всякие гнусные штуки в обе стороны, направо и налево. Потому ясно видишь – всё это на песке, всё в воздухе: в России нет фундамента духовного, нет почвы, на которой можно строить храмы и всякие дворцы разума, крепости веры и надежды, – всё зыбко, сыпуче, всё дресва и – бесплодно. Хочется сказать какое-то слово – братцы, что вы делаете? А вдруг они спросят – что надо делать? Издыхаешь в тоске и – молчишь. Такая страшная скорбь схватит за сердце, так нестерпимо жалко Россию эту – кричать хочется, орать, бить башкой об стену... Стена – живое человеческое тело, в случае, о котором вся речь, – это моя рота.

– Еду я с ней по Сибири – смотрю, какой хороший, серьёзный народ! Немножко печальны, подавлены – это допустимо, это естественно, я понимаю, бог мой! Обо всём, что касается деревни, судят резонно, ясно, с глубоким знанием дела. Но! Сейчас же является эта окаянная петля, это кольцо – чёрт его знает, что оно такое – нигилизм, фатализм восточный? Жалуется мужик – овраги одолели, рвут и рвут пашню. Укрепи! Да как его укрепишь? Научись! Молчат. Вздыхают.

– В вагоне грязно, накурено, насорено – если не указать на это, они не видят, расковыривают зачем-то скамьи, соскребают со стен краску, плюют куда попало. Отношение ко всему – мерзейшее: на станциях отламывают крышки кадок с водой, чёрт знает зачем хлопая ими во всю силу; ломают деревья, гадят везде безобразно и вообще имеют вид чужих людей в чужой земле. Так себе – проезжают мимо. Мимо! Дорогой приходилось разговаривать с ними и, знаете, хотелось! Ведь с этими людьми назначено мне жить и умирать, я должен руководить ими в борьбе против врага и прочее... До некоторой степени я зависим от них. «Итак, ребята, говоришь им, мы едем защищать Россию». Смотрят внимательно, а глаза – чужие, и нельзя понять, что, думают эти люди. «Вы понимаете – что такое Россия, родина?» – «Так точно», – говорят некоторые. «Что же такое родина, Швецов?» – это тот самый новгородский, голубоглазый. Надо вам сказать, что он сел мне в голову сразу и глубоко... да я уж говорил это! «Ну, Швецов?» – «Никак нет, ваше благородие!» – отвечает он – правдиво говорит, чёрт побери, сразу видно, что от души. Надо объяснять. А признаться, я сам до той поры об этом предмете не думал: Россия, ну и чудесно! Границы такие-то, царствующий дом, армия и прочее. Не более. Но о том, что армия из народа выщежена, и о том, что такое этот народ по своему духовному строю, – не приходилось думать... «Русский народ добродушен и белокур» – это я, конечно, знал, но что он не весь белокур и не совсем добродушен, это мне не приходило в голову. Чудесно. И вот, сидя на станции в ожидании дальнейшего движения, веду я речь о России, о её целях в Тихом океане – газеты я читал и насчёт Тихого океана что-то знал тогда. Говорю-с. Кончил. «Поняли?» – «Так точно, ваше благородие!» – отвечают мне эти русские люди, которым необходимо выйти на берега Тихого океана, отвечают – дружно, а я вижу, что – врут: ничего не поняли и нимало не интересно им всё это. Швецов этот, так он, знаете, демонстративно ничего не понял: прижимает меня голубыми глазами своими в угол и, видимо, что-то хочет спросить, но – не решается, что ли. «Ты понял, Швецов?» – «Никак нет». – «Почему?» – «Так что, ваше благородие, ежели взять всю землю, как волость, примерно, то хоша деревни разные, однакож мужики везде одинаковы, и все, стало быть, вроде как шабры на земле, а ежели деревня против деревни в колья пойдёт, то, надо думать, никакой жизни и выгоды никому не будет, а только драка и кровопролитие...» Ох!

Офицер схватился за голову и, качаясь, застонал.

– Ну – глупо же! Может быть, с вашей точки зрения но... очень добродушно и по-христиански, но ведь дико же это! Мертво это! Врёт ведь, чёрт его дери, – пойдёт он в колья, ходил ведь против шабров и – пойдёт... И я вижу, что его – понимают, а на меня смотрят так, как будто хотят сказать: «Что, брат? Ну-ка?» Чужие, чужими глазами смотрят – желал бы я вам

это почувствовать. Да-с! Но – бросим это, бросим! Я скоро прекратил свои беседы, потому что однажды слышу – говорят про меня эти люди:

– Ничего он, так себе, только – вот душу вытягивать любит. Присосётся и – сверлит языком, и сверлит! «Чёрт вас побери», – думаю. Да...

– Другой раз, во время стоянки, вижу – собралась кучка моих ребят, в середине – Швецов, на ладони у него – земля, он растирает её пальцами, нюхает, словно старуха табак, и говорит какие-то корявые слова. В чём дело? «А вот, ваше благородие, Швецов насчёт состава земли разъясняет». – «Что ты тут разъясняешь?» Он спокойно – спокойно! – начинает говорить незнакомыми мне словами о земле, которая как-то там землится, о землестой земле, о землеватости, и все с ним соглашаются, а я ничего не понимаю, и все это видят. Начинаю я свою речь о необходимости защиты земли, боя за землю, а они мне: «Мы, говорят, за неё, ваше благородие, всю жизнь бьемся, мы её защищать готовы!» Выходило смешно, жалко и досадно.

– Одним словом, мне вскоре стало совершенно ясно, что я еду драться, с людьми, которые не понимают, зачем нужно драться. Я должен внушить им боевой дух... должен! Они же не верят ни единому слову моему, и как будто в глубине души каждого живёт убеждение, что эта война – мною начата, мне нужна, а больше – никому. Иногда очень хотелось орать на них. А главное – этот спокойный Портнов... Швецов – смотрит и – молчит. Молчит, но рожа такая – на всё готовая: я, дескать, всё сделаю по твоему приказанию, всё, что хочешь, но мне – ничего не надо, я ничего не знаю, и отвечай за меня – ты сам.

– И вот с этими на всё по чужому приказанию готовыми людьми попал я в свалку: наш батальон прикрывал отступление из-под Мукдена, сижу я со своей ротой в кустах и ямах на берегу какой-то дурацкой речки; вдали, по ту сторону, лезут японцы – тоже очень спокойные люди, но – с ними спокойствие сознания важности того, что они делают, а мы понимаем свою задачу как отступление с наименьшими потерями.

– Береги патроны, – говорю я своим. Берегут. Оборванные, грязные, усталые, невыразимо равнодушные, лежат и смотрят, как там враг перебегает поле цепь за цепью, быстро и ловко, точно крысы... Где-то сзади нас действует артиллерия, справа бьют залпами, скоро и наша очередь, дьявольский шум, нервы отупели, голова болит, и весь стораю, медленно и мучительно поджариваясь, в эдакой безысходной, ровной, безнадежной злобе.

– Сзади меня убедительно спокойный голос Швецова слышу: «Народ – лёгкий, снаряжение хорошее, а главнейше – свои места, всё наскрозь они тут знают, каждую яму, всякий бугорок – разве с ними совладаешь? И опять – на своём месте человек силен, на своём-то, на родном, он – неодолим, человек этот!» Люди сочувственно крикают и сопят, слушая его рассуждения.

– Ну, знаете, я сказал этому господину, что если он не перестанет, так я его – и приставил к деревянной роже револьвер. А он вытарачил голубые свои глаза по обеим сторонам дула и говорит:

– Зачем же вашему благородию трудиться, меня и японца убьёт!

– Стало мне стыдно, что ли... и не знал бы я, как выйти из дурацкого положения, но тут явился приказ – отойти нам глубже. Отошли, как и пришли, без выстрела, и вообще мы – моя рота – некоторое время играла странную роль: всё водили нас с места на место, точно речи Швецова были известны высшему начальству, и оно, понимаете, заботилось поставить роту именно туда, где бы мои ребята почувствовали себя на своём месте. Ходим голодные, оглушённые, усталые, видим, как летают казаки, прыгает артиллерия, едут обозы Красного креста... Хорошо-с!

– Ночь пришла. Лежим в каких-то холмах, а на нас – лезут японцы. Лезут как будто не торопясь, но – споро, отовсюду, без конца. И вот вижу – это, знаете, как сон было: идёт полем к нам какая-то часть, а на правом фланге её вдруг вспыхивает огонёк, и я с ужасом вижу – освещённое этой вспышкой круглое монгольское лицо, – курит, дьявол! Зачем он закурил – я

не знаю, было ли это сделано, чтобы доказать своим солдатам – вот, мол, как и храбр, или он обалдел от страха, но – курит! Со всех сторон жарят залпами, моя рота тоже, конечно, а эти идут, и, знаете, страшно медленно шли они, как мне казалось, изумительно! Как будто они там все знают, что их дело верное, беспроигрышное дело и торопиться – некуда. Конечно, на самом деле было иное, но мне так казалось, говорю я. И эта дьявольская папироса там, в темноте, горит, вспыхивает так ровно, уверенно и спокойно – видно, что она доставляет удовольствие человеку. В неё стреляют, и я советую – ниже брать, чтобы в грудь, в живот ему всыпалось несколько штук, – идёт! И видно – докурил, бросил в сторону, кругло эдак очертилась в воздухе огненная полоска. Вам это кажется несерьёзным, пустяками, ну – да, оно и несерьёзно, незначительно, оно просто указало мне, что я – не закурил бы перед тем, как скомандовать в штыки. У меня нет спокойствия, необходимого для того, чтоб покурить перед смертью, нет уверенности, что... д-да... Я – чужой своим людям, и ни страх пред смертью, ни что другое не связывает их со мною. Мы – люди разных племён по духу, они – солдаты, я – их начальник, больше ничего. Я их не понимаю, они – меня, нам друг друга не жалко, мы – сказать правду – не любим и немножко боимся друг друга...

– Был случай: поймали китайца-шпиона, и вот – сидит он на земле, около него двое конвойных – Швецов этот и Хубайдулин, татарин. Слышу – Хубайдулин ведёт с китайцем вполголоса, на эдаком дурацком языке, дружескую беседу:

– Твоя земля хоруша есть...

Китаец отвечает, точно Швецов:

– Ваша моя чисто зорил – кончал моя.

А Швецов говорит:

– Мы, брат, тут ни при чём... Приказано – иди! Вот и пришли. Мы сами – земляной народ. Мы понимаем. Мы – и так далее... совершенно в том тоне, как говорят мужики из рассказов старых писателей. И – врёт, наглейше врёт. Потому что мне лично слишком часто приходилось видеть, как они – не он, его я не обвиняю, – но вообще они, наши солдаты, зорили хозяйство маньчжур... без необходимости, бессмысленно и с какой-то тупой злобой. Вырубали десятки деревьев, когда нужен был один сучок, жгли фанзы, топтали посева, ломали мебель... да, да. Всё это было, вы знаете, должны знать. Об этом ведь писалось много. Я повторю, что и дорогой в Россию они вели себя так же – портили всё, что могли испортить. «Нищему – ничего не дорого» – есть корейская поговорка, так вот... может быть, несколько оправдывает этих... У меня выболела душа и на языке вертятся слова, нехорошие, больные слова...

– Я слышу всё это и думаю: хорошо, милые мои. Всё это так, всё это – по-христиански, но – отдалённо от нас... Мы – воюем.

К вечеру дело этого китайца было решено; позвал я унтера и приказал:

– Возьми Швецова, Хубайдулина и – расстрелять шпиона!

– Пошли. Спокойно! Я, издали, за ними. Был вечер, половина неба в огне, около какой-то стенки стоял этот китаец, лицом к солнцу... рослый такой молодчина! Против него, затылками ко мне – эти двое. Выстрелили, китаец посунулся вперёд, точно кланяясь им – прощайте! – и упал, лицом в землю. Опустили ружья к ноге, стоят. Всё вокруг красное, и – они тоже. Там, знаете, закаты солнца всегда зловещие какие-то, точно оно, уходя, злобно грозитя – спрячусь – навсегда! Навсегда!..

– Ночью этой не спалось мне. Играли в карты, скучно стало, бросил я, вышел. Долго ходил, как во сне, потом вижу – Швецов около какого-то дерева стоит и – молится. Так, знаете, согнул шею, как подъяремный вол, наклонил голову к земле и тыкает рукой своей в лоб, плечи, в грудь себе. Не торопясь. Услыхал мои шаги, обернулся, вытянулся. Подошёл я к нему – вижу парень как всегда, в порядке. Спросил о чём-то. «Так точно. Никак нет». Тогда я говорю в упор ему:

– Жалко китайца-то, а?

Подумав, отвечает:

– Маленько жалко будто.

– А не убить – нельзя ведь?

– Так точно.

– Почему нельзя?

– Как, значит, шпиён...

– И я чувствую, что он говорит то, с чем не согласен, что ответственность за эту смерть он целиком возлагает на меня, да, только на меня одного. Его деревянное лицо по-своему вполне красноречиво, и тупой этот, покорный, воловий взгляд – осуждает меня.

– Ах, я много мог бы рассказать мелочей, подобных этой, и не об одном Швеце, конечно... Но это его молчание, его покорная готовность сделать всё, что прикажут, и во всём оправдать себя, и ото всего отодвинуться... он наиболее типичен... да.

– Видел я в Нагасаки одного француза – военный корреспондент он был, что ли, или какой-то агент. Бог его знает! Знаете, у французов есть такие лица – острые, точно чеканенные, – взглянешь на него и – думаешь: вот умный человек, прежде всего – умный. Как это у них – *spirituel, intelligent*?<sup>1</sup> Так вот, такой *spirituel* – стоит на перроне, сунув руки в карманы, и смотрит зоркими глазами сквозь пенснэ, как наше пленное воинство садится в вагоны, и – насвистывает похоронный марш, чёрт побери! Да! Я подумал тогда – *fine l’alliance*!<sup>2</sup> Какое удовольствие и польза быть в союзе с людьми, которых бьют, а они – равнодушны? Которые не понимают, за что их бьют, за что они должны бить, и – вообще ничего не хотят понять? С той поры прошли годы, альянс – существует. *Vive la France, vive la Russie*<sup>3</sup> – всё в порядке! Но – поверьте мне, скоро мы останемся одни-одинёшеньки, представляя собою болото, которое будет ограждать Европу от нашествия монголов, как ограждало её в давние времена, и в этом наша роль вовеки и век века. И ограждать будем мы пассивно: дойдут до нас монголы и увязнут среди нас, точно в болоте, – вот так же, как мордва увязла. Пессимизм? Нет. Просто я соприкоснулся со своим народом и стал фаталистом. Мы все – фаталисты, нигилисты – ах! Довольно...

...Знаете, иногда во время ученья ротного посмотришь на эту холодную стену чужих тебе людей и, тоскуя, пошутишь:

– Эй, ты, фаталист, подбери живот!

...Как я попал в Нагасаки? Очень просто. Этот самый Швецов великодушно сдал меня в плен японцам. Именно – сдал. Случилось так, что меня ранили в шею вот и в ногу, да колено ушибли прикладом, что ли, ну – лежу я очнувшись, шея тряпками обмотана, ослаб, двигаться не могу. Утро, около меня, вижу, сидит этот герой и ещё двое лежат, все ранены. Мёртвых довольно много насыпано и наших и тех. Швецов хозяйственно обряжает чью-то голую ногу японским материалом, лицо у него тоже испорчено, в крови всё, на голове что-то вроде колтуна<sup>4</sup>. Спрашиваю – куда ранен?

Отвечает охотно так:

– В обе ноги, в бок да голову, ваше благородие!

«Отделался, слава тебе господи!» – подумал я тогда о нём.

Слышу – хрипит он:

– Покричать надо японцам-то, шли бы скорей, забирали нас, а то его благородию вредно лежать тут, как бы не помер.

---

<sup>1</sup> Умный, интеллигентный — *Ред.*

<sup>2</sup> Конец союзу – *Ред.*

<sup>3</sup> Да здравствует Франция, да здравствует Россия – *Ред.*

<sup>4</sup> Плотный, слипшийся ком волос на голове – *Ред.*

Я не могу сказать ни слова, даже кровь изо рта не в силах выплюнуть. Ну, он и начал кричать, так, знаете, просто, по-новгородски, что ли:

– Эй, иди сюда! Эй!

И машет руками, точно приятелей зовет. Пришли приятели: эдакие аккуратненькие санитары, один немного лопочет по-русски, Швецов ему объясняет: «Вот, говорит, офицер, подобрать его надо, перевязать...» Тот обошёл как-то вокруг Швецова и вежливо говорит: «Позвольте, сначала вас надо перевязать!» – «Нет, говорит, сначала его благородие».

И сказано это было как-то так, что в словах этих не почувствовал я жалости человеческой ко мне и не возбудили они во мне, в душе моей, ни тени благодарности...

Перевязали меня, дали чего-то глотнуть, положили и понесли. Легко раненные пошли со мной, а Швецов этот остался. Потом умер он в море, на транспорте, по дороге в плен.

Умирал деловито и спокойно, точно исполнял самое важнейшее своей жизни, а я наблюдал за ним, и – злила меня эта деловитость.

– Что, – спрашиваю, – не хочется умирать, Швецов?

– Дело не наше – божие...

...Я, кажется, не сумел обрисовать этого человека достаточно ясно... я не могу этого. Фактов – нет у меня... действий его я не знаю. Тут всё дело в спокойном взгляде эдаких бездонно голубых глаз... в одной их искре, которая порою вспыхивала где-то в самой глубине взгляда. Это – искра затаённого несогласия со мною, начальником, со всем, что я говорю, прикидываю, в чём иногда пытался убеждать.

...Лежим, помню, в траншее, мороз, неистово садит ветер, где-то бухает артиллерия, и вся земля эта проклятая, напоённая нашей кровью, вздрагивает, гудит – у-у-у!

– Что, Швецов, холодно?

– Так точно, ваше благородие...

Спокойно говорит, спокойно, понимаете.

– Вот начнётся бой – теплее будет, а?

– Так точно. Перед смертью, конечно, ни жара, ни холод не страшны...

– Почему же перед смертью? Надо о победе думать, а не о смерти...

Молчит. И все, искоса поглядывая на меня, молчат. Солидно так молчат, точно камни.

Чувствуешь себя среди этих существ дьявольски одиноким и обиженным... Что-то ребячье шевелится в душе... в голову лезут странные мысли... хочется закричать этим людям:

«Братцы! Я тоже – русский... я ведь человек вашей земли... родные мои люди! В чём дело? О чём вы молчите?»

Они ёжятся, покрываются от холода и – смотрят вперёд, в холодный, сизоватый эдакий туман, где притаился враг. Спокойно смотрят, да.

Делается страшно. Не боюсь сказать – страшно...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.